

АЗБУКА ВЕРЫ

Никифоров–Волгин Василий А.

**Завтра Пасха Господня —
Никифоров-Волгин В.А.**

Православная художественная литература 2017

Завтра Пасха Господня — Никифоров-Волгин В.А.

Никифоров-Волгин Василий А.

Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог. Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении и ничего не слышит.

- [Крещение](#)
- [Кануны Великого поста](#)
- ["Торжество Православия"](#)
- [Великая суббота](#)
- [Радуница](#)
- [Отдание Пасхи](#)
- [Певчий](#)
- [Святое Святых](#)
- [Тайнодействие](#)
- [Весенний хлеб](#)
- [Древний свет](#)
- [Солнце играет](#)
- [Молитва](#)
- [Великий пост](#)
- [Светлая заутреня](#)

Крещение

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов бабушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба ангел и освятит на реке воду, и она запоет: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". Гришка не поверил и обозвал меня "баснописцем". Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили: — О чем кувикаешь?

— Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью! Из моих слов ничего не поняли. — Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упреком, — даже в Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!

— Да я же ведь за дело Божье вступился, — оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: — Знаешь, как прозывается по древнему богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это, как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово "агиасма" слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

— Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет — точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали "пророчества". Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: "Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой"...

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово "вода". Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо, и ветер, развевающий их седые волосы...

При пении "Глас Господень на водах" вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

— Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит... Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву "Велий еси Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет..."

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь "Во Иордани крещающуся Тебе Господи, тройческое явися поклонение", и всех окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по хорошему, как в день Ангела, когда отец "осеребрит" тебя гривенником, а мать пяточком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возженным светильником, и священник сказал народу:

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали "дозвездный пост". Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерницу. Печеную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по рождественскому — великим повечерием. Пели песню: "Всяческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан" и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в

деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладким и многоводным, а девушки "величают звезды". Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:

— Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещеного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоет полнощная вода...

Мать "творит" тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном "численнике" покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: "Богоявление". Завтра пойдем на Иордань!

Кануны Великого поста

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая — государыня масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полузимник; за ним три вселенских святителя; Св. Никита епископ новгородский — избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня — были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого наверхия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо — прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и березовые сережки. Сердце похоже на птицу, готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:

— Весна наступает!

А он мне ответил:

— Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица налету мерзнет!

— Это последние морозы, — уверял я, дую на окоченевшие пальцы, — уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:

— Бежит время... бежит... Завтра наступает неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Великому посту — редька и хрен, да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост — это весна, ручьи, петушинные вскрики, желтое солнце на белых церквах и ледоход на реке. За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву:

Покаяния отверзи ми двери.

Жизнодавче,

Утреннеет бо дух мой ко храму

Святому Твоему.

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затопляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином молились "в землю". Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все ее благодатности, катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по церковному — неделя о Блудном сыне. За всеобщей пели еще более горькую песню, чем "Покаяние", — "На реках Вавилонских".

В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих "Плач Адама":

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.

Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архангела, об Иосафе — царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:

— Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..

— Когда-то и я на ярмарках пел! — отозвался Яков, — пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Все дело забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — старинный стих повыветрился! Все больше фабричное да граммофонное поют!

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия человека Божия или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это... русскую в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмет... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знамением весны — она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался.

— Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила неделя о Страшном суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен — в знак веры в воскресение из мертвых. В этот день церковь

поминала всех "от Адама до днесь усопших в благочестии и вере" и особенное моление воссылала за тех, "коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших..." И за тех "яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или перст посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удушения..."

В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдаленные раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед грозным судом Божьим, и радость от близкого наступления масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал: — Прости, Господи, великие мои согрешения! Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудреные, но завлекательные слова:

"Кинематограф "Люмьер". Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное представление малобариста геркулесного жонглера эквилибриста "Бруно фон Солерно", престиджитатора Мюльберга и магики спиритическ. вечер престиджитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королем ловкости Мартина Лемберга".

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался — встреча; вторник — заигрыши; среда — лакомка; четверг — перелом; пятница — тещины вечерки; суббота — золовкины посиделки; воскресенье — проводы и прощенный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканые из звезд, солнечных лучей, месяца-золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина "Господи и Владыке живота моего". Наступило прощенное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви, после вечерни, священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну, земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: "Простите, Христа ради", и на это отвечали: "Бог простит". В этот день в деревне зорнили пряжу, т. е. выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.

"Торжество Православия"

Отец загадал мне мудреную загадку: - "Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий Свет".

Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха.

Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне: — Не

многовато ли будет? Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти богоспасенные дни (так еще называли пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой субботы, а дальше ух не заглядывал ~ не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:

Возсия, благодать Твоя Господи,
возсия просвещение душ наших;
отложим дела тьмы, и облечемся
во оружие света:
яко да преплывше поста великую пучину.

Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам "Сокровище духовное от мира собираемое" св. Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре, и подаренным мне матерью в день Ангела:

"Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клетки сердца своего, и теми душу свою созидать".

Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например: "Мир", "Солнце", "Сеятва и жатва", "Свеща горящая", "Вода мимотекущая", а мать уж и вздыхает:

— Хорошо-то как, Господи!

Отец возразит ей:

— Подожди вздыхать... Это же "зачин".

А она ответит: — Мне и от этих слов тепло!

Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердят только одни, ей полюбившиеся, заглавные слова:

- Свеща горящая... Вода мимотекущая...

Наш город ожидал два больших события: приезда архиерея со знаменитым протодьяконом и чин провозглашения анафемы отступникам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: "с проклятьцем, матушка". При слове "анафема" мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну.

День этот был мглистым, надутым снегом и ветром, готовый рассыпаться тяжелой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырех дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге, и однажды, тняя бичеву, запел песню на все волжскую поволие. Услыхал эту песню проезжавший мимо московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили "во вся тяжкая" колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на черный высокий посох. Лицо монаха властное, смурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянув на медного протодьякона. Он начал возглашать:

— Достоинство есть, яко воистину... К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское "входное", поверх которого шли тяжелые волны протодьяконского голоса: — И славнейшую без сравнения серафим... Два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками.

Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше православие такое могучее и просторное. Не даром сегодняшний день назывался по церковному "Торжеством Православия".

Епископа облачали в редкостные ризы, посредине церкви, на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: — Да возрадуется душа твоя, о Господи!.. Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:

— Закрой рот! Стоишь как ворона!

— А у тебя сопля текст! — разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.

— Чего это вы тут озоруете? - зашипел на нас красноносый купец Саморядов. — Анафемы захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу:

— Тако да просветится свет твой пред человеки!..

Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:

— Вот так... голосище!.. Чтоб... его...

Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься. На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали и даже

бранили:

— И что это за шкет такой беспокойный!

— Пустите сорванца вперед, а то все мозоли нам отдавит!

Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на "золотое шествие" духовенства из алтаря на середину церкви при пении "Блажени нищие духом", на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление "Призри с небеси Боже" и осенившего всех нас огнем, — а в это время три отрока в стихарях пели: "Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный помилуй нас", — на всенародное умовение рук епископа перед Великим выходом при пении: "Иже херувимы тайно образуеще", и все это при синайских громах протодьяконовского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:

— Успокойся, милый, успокойся!

Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли, потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всю силу своего широкого голоса запел прокимен:

— Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог наш творяй чудеса!

Как бы объятый огнем и бурей, протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово: ана-фе-мма!

И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну.

Все отлучаемые ют Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды велико-скорбное и как бы рыдающее:

— Анафема, анафема, анафема! Церковь жалела отлучаемых. В этот мгlistый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью: Отрицающим бытие Божие — анафема!

— Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог — анафема!

— Не приемлющие благодати искупления — анафема!

— Отрицающие Суд Божий и воздаяние грешников — анафема!..

В этот день мать плакала:

— Жалко их... Господи!..

Великая суббота

В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня "намахали" из дому:

— Иди лучше к обедне! — выпроваживала меня мать. — Редкостная будет служба... Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь...

Я зашел к Гришке, чтобы и его зазван в церковь, но тот отказался:

— С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали "часы", и на амвоне много стояло исповедников.

До качала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:

— Дивен Бог во святых своих, — выкруглял он тернистые слова. — Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января... Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала...

— Что за притча? — думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

— Скажи на милость! — сказал кто-то от сердца.

— Это еще не все, — качнул головою старец, — на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: "Возьми от меня в дар, за доброту твою"...

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всеобщее бдение с пением вечерних песен. Когда пропели "Свете тихий", то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение Воскресение... Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: — Господа пойте, и превозносите во

вся веки... Это послужило как бы всполощным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршит нотами и грянули волновым заплеском: — Господа пойте, и превозносите во вся веки... Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликнул сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: "боготканые глаголы".

Благословите солнце и луна

Благословите дождь и роса

Благословите ноци и дни

Благословите молнии и облацы

Благословите моря и реки

Благословите птицы небесныя

Благословите звери и вси скоти.

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая святому Макарию:

— Благословите звери!..

"Поим Господеви! Славно-бо прославися!" Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: Господа пойте, и превозносите во вся веки!

После чтения "апостола" вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели:

"Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследиси во всех языцех".

Во время пения духовенство в алтаре извлячало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери...

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.

— Надо рассказать матери... сейчас же!

Прибежал запыхавшись домой, и на пороге крикнул:

— В церкви все белое! Сняли черное, и кругом — одно белое... и вообще Пасха!

Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

Да молчит всякая плоть

Человеча и да стоит со страхом

и трепетом и ничтоже земное в

себе да помышляет.

Царь-бо царствующих и Господь

Господствующим приходит заклатися

и датися в снедь верным...

Радуница

Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне, или рано утром, в церквях служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Все время поют "Христос Воскресе", и вместо "надгробного рыдания" раздается пасхальное: "Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне".

Заупокойную литургию называют "обрадованной". В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для розговен усопших. Радуница — пасха мертвых!

Хорошее слово "радуница"! Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять отдельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся... Вот, например, слово "ручеек". Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеек журчит между камешками!

Или другое слово — зной. Зачнешь долго тянуть букву "з", то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.

Произнес я слово — вьюга, и в ушах так и завывало это зимнее, лесное: ввв-и-ю...

Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд — гром, и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.

В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством:

— Хорошо быть русским!

Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах, и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали Голоса песнопений:

Со духи праведных скончавшихся.

Воскресение День просветимся людие.

Смертию смерть поправ...

— Вечная память...

На многих могилах совершались "поминки". Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках как о живых людях, ушедших на новые жилые места.

Остановившись у родных могил, трижды крестились и произносили: Христос Воскресе!

Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.

— Жизнь бесконечная... Все мы воскреснем... Все встретимся... — доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, играя "в палочку-воровочку". На них шикали и внушали: "не хорошо", а они задумаются немножко и опять за свое.

Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:

— Ишь они, бессмертники!...

— Да шумят уж очень...

— Нехорошо это... на кладбище...

— Пусть шумят... — опять сказал батюшка, — смерти празднуем умерщвление!..

На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:

Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, години, родительские субботы и вселенские панихиды...

Это мы знаем, — сказал кто-то из толпы

— Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.

В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих, и бывает подобна птице, не ищущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.

— А в девятый? — спросила баба.

— В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных...

В это время пьяный мастерской в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:

— А как же пьяницы? Какова их планида?

— Пьяницы царствия Божия не наследуют! — отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему "старый хрен", но в это время заплакал пьяный мастерской:

— Недостойные мы люди... — всхлипывал он, — мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском, и на крест пошел вместе с разбойниками!..

Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: слезы да покаяние двери райские отверзают...

Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал как пристав:

— Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать... греховодник!

...В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получаем место до страшного суда Божия...

И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? — думал я. — Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет... Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи... чтобы они драгоценным камнем стали...

Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопы, говорила:

— Живет, матушка, в одной стране... птица.. и она так поет, что, слушая се, от всех болезней можно поправиться... Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и Радунца затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки.

— Христос Воскресе из мертвых...

Отдание Пасхи

В течение сорока дней в церкви поют "Христос Воскресе".

— В канун Вознесения, — толковал мне Яков, — плащаницу, что лежала на престоле с самой Светлой заутрени, положат в гробницу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего Велика - Дня... Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!

Я очень огорчился и спросил Якова:

— Почему это все хорошее так скоро кончается?

— Пока еще не все кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что еще раз можно услышать пасхальную заутреню... на днях!

Меня бросило в жар.

— Пасхальная заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черемуха цветет? Врешь ты, Яков!

— Ничего не вру! День этот по церковному называется "Отдание Пасхи", а по народному — прощание с Пасхой!

Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.

— Ну, и болван же ты, — сказал дворник, — что ни слово у тебя, то на пяточок убытку! Постыдился бы: собаки краснеют от твоих глупостей!

Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.

Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: "За правду и тюрьма сладка!" А мать выговаривала мне:

— Не произноси, сынок, черных слов! Никогда! От этих слов темным станешь как ефиоп, и ангел твой, что за тобою ходит, навсегда покинет тебя!

И обратилась к отцу:

— Наказание для ребят наша улица: казенка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше, да садов... Нехорошо, что в город мы перебрались! Жили бы себе в деревне...

Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю пасхальную заутреню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальной свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.

Все было так же, как в Пасхальную заутреню ночью, — только свет был утренний, да куличей и шума не было, и когда батюшка возгласил народу: "Христос Воскресе", не раздалось этого веселого грохота: "Воистину Воскресе!"

В последний раз пели "Пасха священная нам днесь показася".

После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу, положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.

И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.

Я стал считать по пальцам — сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать... очень и очень много месяцев!

После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:

— Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь! Доскачешь! А вот я — не знаю. Пасха! — улыбнулся он горько, — только вот из-за нее не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!

Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищевродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.

— В древние времена, — рассказывал Яков, — после обедни в Великую Субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой заутрени, слушая чтение Деяний апостолов... Когда я был в Сибири, то видел, как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата... Тоже вот: когда все выходят с крестным ходом из церкви во время Светлой заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.

Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на нее и заботливо сказал:

— Смех твой, это слезы твои!

Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.

Во время беседы пришел бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и апостола по большим праздникам, и про которого говорили: "Страшенный голос".

Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.

— Да, мало что знаем мы про свою Церковь, — начал он, — а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у царских врат на аналое в Пасхальную седмицу?

— Артос! — почти одновременно ответили мы с Яковом.

— Правильно! Называется он также "просфора всецелая". А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена, во время трапезы, на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого Его сотрапезования...

— А когда в церкви будут выдавать артос? — спросила женщина и почему-то застыдилась.

— Эка хватилась! — с тихим упреком посмотрел на нее Яков. — Артос выдавали в субботу на Светлой неделе... К Вознесению, матушка, подошли, а ты — артос!

— Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, — попросила она, — я хранить ее буду!

Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.

— Вот, поют за всенощным бдением "Свете тихий"... А как произошла эта песня, никто не знает...

Я смотрел на него и размышлял:

— Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!

— Однажды патриарх Софроний, — рассказывал Семиградский, словно читая по книге, — стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, подумал он, падал на лицо Его, и так же колебался золотой воздух Палестины... Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце — Христа, и это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении:

— Свете тихий, святые славы...

«Обязательно с ним подружусь!» — решил я, широко смотря на Семиградского.

В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: "Свете тихий, святые славы".

Певчий

В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушается, хоть волоком его волочи! Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: не могу уйти! Здесь все видно!

Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь:

— Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы...

Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого — пьяницу и сквернословия, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет "на придачу". Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчишки — совсем как ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например, Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:

— Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!

— Дело это, сынок, простое, — сказал отец, — сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны!

— Верно, сынок, — поддакнула мать, — попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный... И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел Божий!

В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: "Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть".

— Войдите!

Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрый помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал солений съезженный огурец.

— Тебе что, чадо? — спросил меня каким-то густо-клейким голосом.

— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.

— Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе... Вот так. Ну, тяни за мною "Царю Небесный утешителю"... Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.

— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: "достойн".

Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:

— И кафтан можно надеть?

—Какой? — не понял регент. — Тришкин?

— Нет... которые певчие носят... эти голубые с золотыми кисточками...

Он махнул рукой и засмеялся:

— Надевай хоть два!

В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:

— Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду !

Кому-то сказал, перехватив через край:

— Приходите, в воскресенье меня - слушать!

Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампы, спросил меня:

— Ты куда?

— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!

— Эк тебе не терпится!

Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня.

— Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!

— Ничего. Я подожду.

Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.

— Ты что это в кафтане-то?

— Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!

— Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну, что же, "Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареву нашему, пойте!"

Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости — вот-де, достиг! — а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня...

Пели "Верую во единого Бога Отца Вседержителя"... Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.

Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего символа веры... Когда певчие грянули "чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века, аминь" — я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех "а-а-минь"! В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал:

— Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!

Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.

Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:

— Это ничего, это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, — подумает он, — как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость... сорвался... Ну, что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает... Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!

Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.

Святое Святых

Желание войти во святая святых церкви не давало мне покоя.

В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу:

— Помоги мне, Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!

Бог услышал мою молитву. Однажды пришел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:

— Что это тебя, отроча, в церкви не видать?

За меня ответил отец:

— Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!

Дьякон погладил меня по голове и сказал:

— Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да никому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной, в алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?

Через смущение и радостные слезы я прошептал нашу деревенскую благодарность:

— Спаси Господи!

И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие четки — лестовку — и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.

Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:

— Э... монах в коленкорových штанах!

Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: "да не зайдет солнце во гневe вашем".

Наступила суббота. Умытым и причесанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне подошел сторож Евстигней:

— Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, — напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, — всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!

Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле, и по древним сказаниям, днем и ночью ходят со славословиями ангелы Божий, и во время литургии всблескивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые... Я оцепенел весь от радости, — радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.

— Ну, приучайся к делу! — сказал сторож. — Вот это уголь, — показал мне прессованный хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. — Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола — место сие святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и царскими вратами — грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты царские врата... Понял?

От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.

— А где же мой стихарь? — спросил я. — Отец дьякон обещал!

— Эх тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!

В это время ударили в большой колокол. От первого удара, — вспомнилось мне, — нечистая сила "яже в мире" вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землей начинают летать ангелы, и тогда надо перекреститься.

В алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!

За ним отец Василий — маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:

— Служи и не балуй! Все должно быть благообразно и по чину.

Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели "Благослови душе моя, Господа". Особенно понравились мне слова: "На горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси". Когда запели "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... Работайте Господеви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом", я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.

Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:

— Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?

— Нет еще. Обещалась на днях.

— Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!

Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?

После всенощной я обо всем этом рассказал матери.

— Люди они, сынок, люди, — вздохнула она, — и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божий не повредятся. Также сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредиться ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек еще не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придет время — вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы.

— Держи карман шире! — проворчал отец, засучивая щетину в драгву. — Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальчика! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!

Мать так и вскинулась на отца.

— Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиной?

Отец вздрогнул.

— Кто?

— Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутевые слова. Они не твои. Не огорчай ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими тезами перед иконами заучиваешься. Не

вводи ты нас в искушение. А ты, — обратилась она ко мне, — не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо; что от души идет, и что от крови!

Тайнодействие

Впервые услышанное слово "проскомидия" почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова: молния, всполох, зорники и слышанное от матери волжское определение зарниц — хлебозарь!

Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье в запахе лип, проникавшего в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.

Перед совершением ее священник с дьяконом долго молились перед затворенными святыми воротами, целовали иконы Спасителя и Божьей Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте, что ли, считающему у выручки медную монету, или Божьей хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудреными церковными словами:

— Всему миру кланяются! Ибо сказано в чине священныя и божественныя литургии: "Хотяй священник божественное совершити тайнодействие, должен есть примирен быти со всеми".

Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого невиданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шелковую одежду — подризник — и произнес звучащие тихим серебром слова:

"Возрадуется душа моя о Господи, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одей мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою".

Облаченный в стихарь дьякон, видя мое напряженное внимание, шепотом стал пояснять мне:

— Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.

Священник взял эпитрахиль и назнаменовал его крестным осенением, сказал:

— "Благословен Бог изливай благодать свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежды его".

— Эпитрахиль — знак священства и помазания Божия...

Облекая руки парчовыми нарукавницами, священник произнес: "Руци Твои сотвористе мя и создаете мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим", и при опоясании парчовым широким поясом: "Благословен Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой... на высоких поставляй мя".

— Пояс — знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, — прогудел мне дьякон.

Священник облачился в самую главную ризу — фелонь, произнеся литые, как бы вспыхивающие слова:

— "Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостно возрадуются"...

Облачившись в полное облачение, он подошел к глиняному умывальнику и вымыл руки:

— "Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой, Господи... возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея"...

На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем чаша, дискос, звезда, лежало пять больших служебных просфор, серебряное копьцо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от чаши излучалось острое сияние.

Проскомидия была выткана драгоценными словами.

"Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя... Дивны высоты морские, дивен в высоких Господь"... "Святися и прославися пречестное и великолепное имя Твое"...

Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное свое царство.

Много произносилось имен, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдце-дискос. Тайна литургии до сего времени была закрыта царскими воротами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в тело Христово и вина в истинную кровь Христову, когда на клиросе пели: "Тебе поем, Тебе благословим", а священник с душевным волнением произносил:

"И сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, аминь, аминь, аминь"...

В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щеки мои горели, временами была лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лег в постель. Мать заволновалась.

— Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щеки как жар горят!

Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и рассказывая чувствовал, как по лицу моему струилось что-то похожее на искры.

— Великое и непостижимое это дело, совершение Тайн Христовых, — говорила мать, сидя на краю моей постели, — в это время даже ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия!

Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной.

— Да, живем мы пока под ризою Божьей, Тайн Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны... Уйдут они в пещеры, в леса темные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: "Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут... И наступит тогда конец свету!"

— А когда это будет?

— В ладони Божьей эти сроки, а когда разогнется ладонь, — об этом не ведают даже ангелы. У

староверов на Волге поверье ходит, что второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деда наши сурово к этому Дню приуготавливались.

— Как же?

— Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаем и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны — словно к смертному часу готовимся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал желтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы "Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящим"... Дед твой часто говаривал: мы-то, старики, еще поживем в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведется жить!

Весенний хлеб

В день Иоанна Богослова Вешнего старики Митрофан и Лукерья Таракановы готовились к совершению деревенского обычая — выхода на перекресток дорог с обетным пшеничным хлебом для раздачи его бедным путникам.

Соблюдалось это в знак веры, что Господь воззрит на эту благостыню и пошлет добрый урожай. До революции обетный хлеб выпекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и в выносе его на дорогу участвовала вся деревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шепотной молитвой о ниспослании урожая. Хлеб нес самый старый и сановитый насельник деревни.

Теперь этого нет. Жизнь пошла по-новому. Дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. Только от них еще услышат, что от Рождества до Крещения ходит Господь по земле и награждает здоровьем и счастьем, кто чтит Его праздники: в Васильев день выливается из ложки кисель на снег с приговором: "Мороз, мороз! Поешь нашего киселя, не морозь нашего овса". В Крещенский сочельник собирается в поле снег и бросается в колодец, чтобы сделать его многоводным, в прощенное воскресенье "окликают звезду", чтобы дано было плодородие овцам; в чистый понедельник выпаривают и выжигают посуду, чтобы ни згинки не было скоромного; в Благовещенье Бог благословляет все растения, а в Светлый День Воскресения Юрий — Божий посол — идет к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу "на Белую Русь и на весь свет".

На потеху молодежи старики Таракановы говорят старинными, давным-давно умершими словами. У них: колесная мазь — коляница, кони — комони, имущество — собина, млечный путь — девьи зори, приглашение — повещанки или позыватки, запевало — починальник, погреб — медуша, шуметь на сходе — вечать, переулки — зазоры.

Речь свою старик украшает пословицами и любит похвалиться ими: так, бывало, и сеет старинными зернистыми самоцветами. Соседу, у которого дочь «на выданье», скажет:

— Заневестилась дочь, так росписи готовы!

Про себя со старухой говорит:

— Только и родни, что лапти одни!

Соседского сына за что-то из деревни выслали, и старик утешал неутешную мать:

— Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, подумаешь — горе, а раздумаешь — воля Божья!

Бойким веселым девушкам тихо грозит корявым пальцем:

— Смиренье — девушки ожерелье.

Баба жаловалась Митрофану на нищее житье свое, а он наставлял ее:

— Бедная прядет, Бог ей нитки дает!..

Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими глазами, старую песню любила пестовать.

Послушает она теперешние вроде: "О, эти черные глаза" и горестью затуманится:

— В наше время лучше пели, — скажет со вздохом и для примера запоет причитным голосом:

Ах, ты, матушка, Волга реченька,

Дорога ты нам пуще прежнего,

Одарила ты сиротинушек

Дорогой парчой, алым бархатом,

Золотой казной, жемчугами-камнями...

И в долгу-то мы перед матушкой,

И в долгу большом перед родненькой.

К выносу на дорогу "обетного хлеба" Митрофан и Лукерья готовились с тугою душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне муку для "обычая", но никто ничего не дал, только на смех подняли.

Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. Пока он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.

В полдень стали готовиться к выносу. Хлеб задался румяным и наливным. Старуха перекинула его с руки на руку и сказала:

— Хышь на царскую трапезу!

Старик постучал по загаристой корке и высловил:

— Сущий боярин!

Хлеб положили на деревянное блюдо, перекрестили его и покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на обе руки. Лукерья открыла дверь и сказала вслед:

— Как по занебесью звездам несть числа, дак бы и хлебушка столько добрым людям...

Митрофан пошел по деревенской улице. Он был без шапки, с приглаженными волосами, с расчесанной на две стороны бородой, в длинной холщевой рубаше. Концы полотенца с вышитой занизью свисали до земли, как дьяконский орарь.

Парни и девки, стоявшие у раскрытых окон Народного дома и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпивший парень в манишке и сползающих манжетах махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:

— Гони сюда закуску!

Старик остановился и степенно ответил:

— Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несу!

Митрофан дошел до перекрестка и остановился. Дороги были тихими, прогретыми майским солнцем. Веселой побужкой гулял ветер, взметывая золотистую пыль.

От запаха ли пыли, пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зеленой зыби раскинувшегося ржаного поля, Митрофан стал думать о хлебе:

— Даст ли Господь урожай?

Вспомнились прежние градобития, неумные дожди, иссушающие зной, и во рту становилось горько, а хлеб на руках потяжелел. Солнце играло с ветром. Митрофан залюбовался их игрою и сразу же осветился:

— Ничего, — сказал нараспев, — Микола Угодник умолит, вызволит мужика из беды... Он, Микола-то, по межам ходит, хлеб родит, да и к тому же в Крещенье снег шел хлопьями, а это всегда к урожаю...

На автомобиле проехали городские люди. С широким удивлением посмотрели на бородатого высохшего старика, стоявшего у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он поджидает с хлебом-солью среди пустых полей?

Мимо старика проехал велосипедист в кожаной куртке и таких же штанах. Он остановился и спросил:

— Ты, старина, зачем тут стоишь?

— Бедных зашельцев поджидаю...

— А это для чего?

— Хлебушком хочу с ними побрататься... Обычай такой у нас... старинный... шtbody это Господь за нашу милость урожай хороший послал...

Велосипедист покачал головой. Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не показывался. Это начинало тревожить Митрофана.

— Плохой знак... недобрый... Не посылает Господь ни одного доброго человека... Вот что значит одному-то выходить с хлебом!.. Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь-то и услышал бы.

От усталости Митрофан присел на придорожный камень и задумался. Думы были тяжелые.

Чтобы не так больно было от них, он старался дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторит:

— Своя земля и в горсти мила!

В думах своих не заметил, как мимо прошел человек в рваней "чернизине" и босой. Митрофан прытко поднялся с камня и крикнул вслед:

— Эй! Поштенный! Остановись!

— Чево? — повернулся прохожий.

— Вы из нищих? — радостно спросил старик, приближаясь к нему с хлебом.

Прохожий плюнул и выругался.

Подойдя поближе, старик признал в нем скупого лавочника из Верхнего села.

Почти до вечера простоял Митрофан на перекрестке и никого из нищей братии не дождался.

Древний свет

Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжистых бревен, ставших от времени сизыми, с зазеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях — вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят. Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая — выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом — в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.

Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу: дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.

Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дождется смерти старика — дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот курился и отрывисто возражал:

— Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!

Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор:

— Не имеют законного права! Моя собственность!

В один из летних вечеров я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нашупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на

Валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком, он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побежчивая гредь, русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюбленных, то исступленных, тоскою и буйным весельем одержимых... Пушкин с Гоголем вспомнится... Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволие ветреных полей, морозная ткань на окнах постоянного двора. Многие передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:

— Кого Бог привел?

Он распахнул дверь, взгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки.

— Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!

Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и, по старой своей привычке, напевает старинным деревенским ладом:

Цвели в поле цветики да поблекли.

Любил парень девушку да спокинул,

Покинул, душа моя, не надолго,

На едино времячко, на часочек.

В который-то раз я рассматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи — Преподобный Сергей Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадилце. Пучок поблекших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб — артос, кожаный синодик с именами усопших — первыми записаны император Александр Второй — Освободитель, иеросхимомонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: "И всех сродников от века преставшихся помяни, Господи". Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: "Святая гора Афон", "Возрасты человека", "Страшный суд", "Сожжение протопла Аввакума". На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах — "Добротолюбие", "Патерик", "Часослов", "Житие преподобного Александра Свирского". Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденьи. В углу, на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие...

Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: "Все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что поценнее, как например, икона Сергея Строителя, продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит".

— Не соответствует веку! — скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.

В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается заведеревшее солнце. Шумит самовар, на нем отчеканено: "Фабрика в Туле братьев Стрельниковых". Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски: "Приемлю и ничесоже противнаго глаголю". По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская поговорка: "Хлеб-соль ешь, а правду режь". На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиевская Лавра.

Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается — рад почаевничать с пачечайным гостем.

— Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, — кивает он на икону, — никого у меня! Один, как часовня в поле!

— Артемий Федотыч, поди, заходит! — добавил я.

Старик мотнул головою:

— И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неумная душа! Эх, деньги, деньги, семена дьявола... Пристают тут ко мне Артемка смолою едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей. Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб не сrostись душою и телом с привычным, дыханием обогретым, местом... Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного — во рту уж земляная горечь, матушка земля к себе зовет!

Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай.

— А правда, бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?

— Поговаривают, но...

Он не дал мне досказать.

— Ну, что ж. Против рожна не попрешь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели... Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное. Дубы росли. На синей горе стояла церковь Св. Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырбили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. "Имя наше забудется, — как говорит премудрый Соломон, — никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман".

— Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? — спросил я Федота Абрамовича.

— Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь... Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить...

Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело. На улице трещало радио. У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду

оркестр играют модный шлягер "Твои ноги, как змеи".

— Эх их, шумят! — мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. — Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь, у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи... Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжелая у человека жизнь!

Но уходе от Федота Абрамовича я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

Солнце играет

Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую ногу. В течение всей Страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты:

"Комсомольская заутреня!

Ровно в 12 ч. ночи.

Новейшая комедия Антона Изюмова

"Христос во фраке".

В главной роли артист Московского театра

Александр Ростовцев.

Бездна хохота. Каскады остроумия".

До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркестра ражий детина в священнической ризе и камилавке нес наподобие церковной хоругви плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами. Город вздрагивал. К театру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы "Христос во фраке". На всю широкую театральную площадь грохотало радио — из Москвы передавали лекцию "о гнусной роли христианства в истории народов".

По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомольцев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку,

Не горит моя свеча.

Не хочу Ильи пророка,

Дайте лампу Ильича!

Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лесным рыком:

— Наддай, ребята, поматюжнее!

Три старушки-побирушки,

Два тухлявых старика.

Пусто-пусто в церковушке,

Не сберешь и пятака.

— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!

Ах, яичко мое, да не расколото,

Много Божьей ерунды нам напорото!

— Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!

— Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!

В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно. Людей не видно — одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском: "Воскресение Твое Христе, Спасе, ангели поют на небеси"...

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошелся, пустив в прискачку, с гиканьем и свистом:

Эй ты, яблочко, катись

Ведь дорога скользкая.

Подкузьмила всех святых

Пасха комсомольская.

Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели: "Христос Воскресе из мертвых..."

Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле — бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола, на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в дьяконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом, искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили:

— Это цветочки... ягодки впереди! Вот, погодите... во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота!

Во втором действии, под вихри исступленных оваций, на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев.

Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нес в руках золотое Евангелие.

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из заповедей

блаженства. Медлительно и священнодейственно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:

— Вонмем!

В зале стало тихо.

Ростовцев начал читать:

— Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся...

Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами:

— Подайте мне фрак и цилиндр!

Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше:

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивии, ибо они помилованы будут...

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, — но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:

— Вы свет мира... любите врагов ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...

Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевелился. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в темя публики таким "коленцем", что все превратится в веселый пляшущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну.

Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:

— Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..

Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес.

Через несколько минут публике объявили:

— По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не

состоится.

Молитва

Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится лишь на всю округу густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо-сирень от всякого мора охраняет, — ну и приветили это древо у себя, и дали развернуться ему от края до края.

В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле.

В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его "горесвященником", так как и умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.

— Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить может!

Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампы и свечи сами собою загораются!

Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.

Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.

Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затоплять перед иконами все лампы.

Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреновом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи.

И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия.

Он припал головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к Нерукотворному Спасу — большому черному образу посредине — и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей милости и до семьдесят седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..

Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего... Пожить ему хочется... Только и бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать, и как раков ловить... Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то... Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..

Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:

— Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..

Он протянул вперед руку, словно касался края ризы Стоящего перед ним Бога.

Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние...

Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился.

Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.

Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью.

— Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия... и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут... Скоро в кусочки они пойдут... Не допусти, Господи! Подкрепи его... Корнилия-то!

Прости также раба Твоего Павлушку... т. е. Павла. Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски изъясняю... Огрубел язык мой... Так вот, этот Павлушка... по темноте своей... по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников пел... проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее... Ты прости его. Господи, и озари душу его!.. Он покается!

И еще. Господи, малая доука к Тебе... Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова... Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала... в заплатках вся... Благослови его, Милосердный... Он добрый!

О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший... и чтобы это травы были... и всякая овощь, и плод... А Дарья-то Иванникова поправилась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!

Вот и все пока... Да!.. еще вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего Василия... Ему тоже помоги... Он душою мается...

И еще спаси и сохрани... раба Твоего... как это его по имени-то?

Отец Анатолий замаялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.

— Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого... что у Святой горы проживает... и пчельник еще у него... валенки мне подарил... Добрый он... Его все знают... Борода до пояса... у него... Ну, как же это его величают? На языке имя-то!..

Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:

— Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь... Прости меня, Милосердный, за беспокойство... Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас грешных и недостойных?

Отец Анатолий погасил лампы, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.

Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:

— Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись... Эх, молодость! Ну, что тут поделаешь?.. Надо перекрестить его... Огради его, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста и спаси его от всякого зла...

Великий пост

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:

— Пост да молитва небо отворяют!

Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар... Из деревень привезли много веников (в Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно:

— Грибки монастырские!

— Венечки для очищения!

— Огурчики печорские!

— Сниточки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слышанные слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся...»

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих Тебя... даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:

— В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером...

Я задумался над словами Якова и перестал есть.

— Ты что не ешь? — спросила мать.

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:

— Хочу быть святым Ермом! Все улыгнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:

— Ишь ты, какой восприемный!

Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похоже на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися...»

К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Критского:

«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

— Сядь на скамейку и отдохни малость...

Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе

моя, возстани, что спиши?»

Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою...»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с бабушкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понутив голову:

— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!

Отец ответил:

— Бог простит, сынок.

После некоторого молчания обратился я и к матери:

— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. И мать тоже ответила:

— Бог простит.

Засыпая в постели, я подумал:

— Как хорошо быть безгрешным!

Светлая заутреня

Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

— Это для чего?

— Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

— Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

— Да... часы на Спасской башне... Пробьют, — и сразу же взвивается к небу ракета... а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне — сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок-сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

— Ты засыпаешь?

— Нет. На Москву смотрю.

— А где она у тебя?

— Перед глазами. Как живая...

— Расскажи еще что-нибудь про Пасху!

— Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом — лес нехоженный, тропы звериные, а у монастырских стен — речка плещется. В нее таежные деревья глядят, и церковь сбита из крепких смолистых бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом — прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет — горькой вековушкой останется!

Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!

— Хватит вам, вечать-то, — перебила нас мать, — высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене сонными!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

— Скоро ли в церковь?

— Не вертись, как косое веретено! — тихо вспылила она. — Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках — только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви, около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

— Читать умеешь?

— Умею.

— Ну, так начинай первым!

Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

— Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?

— Попробовать хотел!..

— Ты лучше куличи пробуй, — и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

— Где-то сейчас Пасха? — размышлял я. — Витает ли на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страсотерпицами и мучениками. Господь обходит землю; благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскрес из мертвых...» Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши...

Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.

— Идет, идет! — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

— Кто идет?

— Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!

И он грохнул...

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилося, а когда прошел гуд его, покатилося другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня заметил в темноте нищий Яков.

— Светловещанный звон! — сказал он и несколько раз перекрестился.

В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, — словно отваливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидел отца с матерью. Подошел к ним и сказал:

— Никогда не буду обижать вас! — прижался к ним и громко воскликнул: — Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб — артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскреляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «так полагается» — Пасха! Пасха Господня! — бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла — стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, — свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший храм, — и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блесках серебра, золота и драгоценных камней на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, — вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадыльным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега — «Воистину воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:

— Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:

— Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное».

Сердце мое зашло от радости, — около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую заметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

— Христос Воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались... а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества:
Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»